

Алексей Феофилактович Писемский

Виновата ли она?



Алексей Писемский
Виновата ли она?

«Public Domain»

1855

Писемский А. Ф.

Виновата ли она? / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1855

«Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту?...»

Содержание

I	5
II	9
III	14
IV	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Алексей Феофилактович Писемский

Виновата ли она?

Записки

I

Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения¹. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту? Я жил один, знакомых не имел никого, и единственным моим развлечением было часа по два, по три ходить по Тверскому бульвару и бог знает чего не передумать. Однажды я встретил молодого человека, который прямо обратился ко мне с вопросом:

– Не знаете ли кого-нибудь из ваших товарищей, кто бы приготовил меня в университет?

Я посмотрел на него пристально; на вид ему было лет осмнадцать, одет он был небрежно, в приемах его видна была беспечность. Лицо выразительно и с глубоким оттенком меланхолии.

– Если вам угодно, я могу это взять на себя, – отвечал я.

– Пожалуйста, мне надобно подготовиться из математики. Вы какого факультета?

– Математик.

– Это хорошо, а вы почему возьмете за урок?

Этот прямой вопрос меня сконфузил.

– Обыкновенную цену – рубль серебром, – отвечал я.

Молодой человек подумал.

– Хорошо, это я могу дать. Ваша фамилия? – проговорил он.

Я сказал, он мне назвал свою, дал адрес квартиры и просил прийти на другой день в семь часов вечера.

– Вы живете одни или с семейством? – спросил я.

– С матерью, есть и сестры, – отвечал он.

Мы расстались.

Я возвратился домой очень довольный этой встречей, мне давно хотелось иметь урок – не для денег, которых хотя было у меня и немного, но доставало на мои умеренные желания, но мне желалось учить, хотелось иметь право передавать другому свои знания, убеждения, а того и другого было в моей голове довольно в запасе.

На другой день я отправился еще за полчаса до назначенного срока. Дом, который отыскал по адресу, был барской; стоял он на дворе, по бокам тянулись огромные каменные прислуги, кругом почти целый квартал обхватывала железная решетка. Я долго путался в огромных сенях, наконец вошел в бельэтаже в главные двери. Лакей в ливрее на вопрос мой: «Здесь ли живет Леонид Николаич Ваньковский?» – отвечал довольно грубо: «Ступайте на самый верх, направо». Наверху в передней я никого не нашел, в зале тоже; из соседней комнаты слышался разговор, я начал кашлять, выглянула молодая девушка. Я поклонился ей.

– Вам, верно, брата Леонида нужно? – проговорила она и ушла назад.

Через несколько минут вышел мой ученик.

– Bon soir², пойдете в кабинет, – проговорил он, подавая мне руку.

¹ Московского университета (Прим. автора.).

² Добрый вечер (франц.).

Мы вошли в довольно большую комнату, которая, видно, действительно была некогда богатым кабинетом, но в настоящее время представляла страшный беспорядок: стены под мрамор в некоторых местах были безбожно исколочены гвоздями, в углу стоял красивый, но с изломанною переднею решеткою камин, на картине масляной работы висела шинель. Хозяин спал на кушетке, на которой еще лежали неубранные простыня и подушки. Мягкая мебель, обитая бархатом, была переломана и изорвана. На огромном красного дерева столе лежали кипами бумаги, книги и ноты. Мы сели около этого стола.

– С чего же мы начнем? – заговорил я серьезным тоном наставника.

– С чего хотите, – отвечал ученик небрежно.

– Я желал бы, – продолжал я в том же тоне, – прежде испытать, в какой мере вы знакомы с математикою, и просил бы позволить мне проэкзаменовать вас.

– Хорошо.

– Первую часть арифметики, вероятно, вы знаете?

– Знаю.

– А вторую?

– Кажется, знаю; впрочем, может быть, и забыл.

Я взял лист бумаги и хотел написать задачу, но оказалось, что из дюжины торчавших в чернильнице перьев ни одно не писало, да и чернил почти не было.

– У вас перья не совсем в порядке, – заметил я.

– Да; я сам не умею чинить; вот вам карандаш, – отвечал ученик, поднимая с полу карандаш и подавая мне его.

Для первого испытания я задал ему сложение десятичных дробей; он взял и положил с какою-то насмешливою улыбкою лист перед собою, подумал немного, провел несколько линий карандашом по бумаге и, отодвинув ее от себя, проговорил:

– Нет, не знаю, позабыл.

Я задал ему сложение простых дробей, но он и в тех спутался; потом об алгебре признался, что совсем ее не знает, а геометрии немного. Я принялся экзаменовать его в геометрии, на поверку вышло, что и в геометрии нуль. Я нахмурился.

– Вы очень слабы в математике; с вами надобно проходить с начала, – сказал я.

– Лучше с начала, а то я все перезабыл.

– Стало быть, мы начнем со второй части арифметики, – решил я.

Ваньковский в знак согласия кивнул головой. Я был убежден, что с ним следовало бы начать с первой части арифметики, но высказать ему это мне на первый раз было совестно.

В продолжение часа я толковал с увлечением, и в то время, как окончительно хотел объяснить прием деления дробей, ученик мой во все горло зевнул и спросил меня:

– Вы курите?

Мне сделалось стыдно за себя и досадно на него.

– Курю, – отвечал я.

– Хотите трубку или сигару?

– Позвольте трубку.

Леонид встал, наложил мне сам трубку, а себе закурил сигару, и когда я хотел снова обратиться к толкованию, он сказал:

– Будет, больше часа прошло, не хочется что-то сегодня.

Я пожал плечами.

– Вам надобно очень много заниматься, чтобы выдержать экзамен, – произнес я с ударением.

– Займусь, – я хочу на юридический.

– Все равно; надобно выдержать экзамен из всех предметов, – отвечал я.

– Что тебе, Лида? – спросил Леонид, обращаясь к дверям.

– Вы здесь будете пить чай или туда придете? – раздался женский голос.

Я обернулся; это была прежняя девушка.

– Туда придем, – отвечал Леонид.

Девушка скрылась. Я взялся за фуражку.

– Куда же вы? Посидите, пойдемте, я познакомлю вас с нашими.

Я положил фуражку; он провел меня в гостиную. В больших креслах сидела высокая худошавая дама лет сорока пяти, рядом с нею помещался, должно быть, какой-нибудь помещик, маленький, толстенький, совсем белокурый, с жиденькими, сильно нафабранными усами, закрученными вверх, с лицом одутловатым и подозрительно красным. Лидия разливала чай, около нее сидели чопорно на высоких детских креслах две маленькие девочки.

Ученик мой подвел меня к даме и отрекомендовал. «Матушка моя», – отнесся он ко мне.

Госпожа Ваньковская кивнула мне слегка головою и, проговоря с обязательной улыбкою: «Очень приятно познакомиться», указала мне глазами на ближайший стул.

Я сел.

– Вы давно в университете? – спросила она меня.

– Четвертый год.

– Имеете батюшку, матушку?

– Имею-с мать.

– Как, я думаю, ей приятно, что вы в университете, я это сужу по себе: мне очень хочется, чтобы Леонид поступил поскорей в студенты, – проговорила г-жа Ваньковская. – Он, я думаю, ничего не знает, – прибавила она, взглянув на сына.

Леонид ничего на это не возражал, а только нахмурился и сел за чайный стол около сестры.

– Это не так трудно: если займется, так скоро приготовится, – отвечал я.

– Вы, пожалуйста, будьте с ним построже; у него прекрасные способности, только он очень ленив: это говорили все его учителя, – сказала г-жа Ваньковская и, найдя, конечно, что достаточно обласкала меня, обратилась к помещику:

– Какие у вас прекрасные лошадки, Иван Кузьмич, я всегда ими люблюсь.

– Очень приятно слышать, – отвечал тот.

– Премиленькие, небольшие, а очень красивенькие.

– Вятки-с.

– А, так это вятки! Я и не знала.

– Вятки-с. Они у меня возят воду и воеводу. Я на них в город езжу и в дорогах верст по семидесяти делаю, не кормя.

– Как это много! Они, я думаю, очень устают?

– Нет-с, ничего. Эта порода снослива, им часа два дайте вздохнуть и опять ступай смело на семьдесят верст; только чтоб горячих не напоить.

– Зачем же вы в городе всегда шагом ездите? – сказал вдруг Леонид, взглянув насмешливо на Ивана Кузьмича.

– Здесь нельзя шибко ездить, Леонид Николаич, – возразил тот. – На мостовой снег хуже песку; здесь один Кузнецкий проехать на рысях, так лошадь надорвешь.

– Другие же ездят?

– От других и мы не отстанем, давайте ваших коурьих, потягаемся!

– Стану я с вами тягаться; я вас на одной версте обгоню на две версты.

– Шутите, а я бы с вами поспорил.

– Что тут спорить, все знают, что у вас лошади дрянь и вы жалеете их больше себя.

– Ну уж это, Леонид Николаич, вы ошибаетесь; у меня хоть лошади не дорогие, а не дрянь, и я не жалею их и езжу, где можно.

Этот спор Леонида, кажется, был очень неприятен матери.

– Лида! Что же чаю? – отнеслась она к дочери.

– Сейчас, – отвечала Лидия и сама подала матери чашку.

Та прихлебнула, сделала гримасу и проговорила:

– Опять сладко; никак ты не можешь примениться к моему вкусу.

– Позвольте, я разбавлю.

– Оставь уж, – возразила Ваньковская; в голосе ее слышалась досада.

Лидия немного сконфузилась и пошла к чайному столу.

– А Ивану Кузьмичу чаю? – сказала мать.

– Он готов, – отвечала дочь, указывая глазами на стакан чаю, стоявший на краю стола.

– Виноват-с, – перебил Иван Кузьмич, быстро вставая и беря стакан, и, как-то особенно расшаркавшись перед Лидой, пробормотал ей что-то. Она, с своей стороны, ничего не отвечала.

Мне и Леониду подал чай лакей. Леонид закурил себе сигару и подал другую мне. Я отказался.

– Что же ты, Леонид, Ивану Кузьмичу не предложишь трубку? – сказала мать.

Леонид нахмурился.

– Хотите? – спросил он Ивана Кузьмича.

– Прошу вас, – отвечал тот.

– Подай сюда трубку, – сказал Леонид человеку.

Я между тем стал внимательно смотреть на молодую девушку, которая поила маленьких сестер чаем. Чем более я в нее вглядывался, тем более она мне нравилась. Она была далеко не красавица, но в то же время в ней было что-то необыкновенно милое и доброе, что невольно влекло к ней с первого раза. Чайный стол, наконец, был убран, разговор как-то не клеился: мать говорила вполголоса с Иваном Кузьмичом; Лидия Николаевна села за работу; мой ученик молчал и курил. Я хотел было уйти домой, но Леонид встал, раскрыл стоявшую тут рояль и, не обращая ни на кого внимания, сел и начал играть. Я невольно стал вслушиваться; в игре его, кроме мастерского приема, слышалось что-то энергическое, задушевное. Молодая девушка, умышленно или нет, не знаю, пересела рядом со мною. Леонида слушали внимательно все: Иван Кузьмич придал лицу грустное выражение, мать потупилась, даже маленькие девочки перестали между собою болтать.

– Как брат хорошо играет, – сказала мне Лидия Николаевна.

– А вы любите музыку?

– Очень.

– А сами музыкантша?

– Да... но нет, я гораздо хуже его играю.

Леонид вдруг на половине пьесы остановился, встал, сел около меня и опять нахмурился.

В остальную часть вечера Иван Кузьмич принимался несколько раз любезничать с Лидией Николаевной; она более отмалчивалась. Леонид беспрестанно говорил ему колкости, на которые он не только не отвечал тем же, но как будто бы даже не понимал их.

Возвратившись домой, я все думал о моих новых знакомых; более всех мне понравились Лидия Николаевна и Леонид. Старшая Ваньковская, Марья Виссарионовна, как назвал мне ее Леонид, произвела на меня какое-то неопределенное впечатление, а этот Иван Кузьмич плоховат. И что он такое тут? Родня, знакомый, жених?

II

С тех пор как я познакомился с Ваньковскими, жизнь моя сделалась как-то полнее. Все вечера после уроков я проводил у них. Говоря откровенно, я, сам того не замечая, влюбился в Лидию Николаевну. Каждый день я более и более с мучительным нетерпением начал ожидать шести часов, чтобы отправиться в заветный дом на Смоленском рынке, и всю дорогу меня занимала одна мысль: дома ли Лидия или куда-нибудь уехала? Увижу я ее или нет? Проходил я обыкновенно прямо к Леониду в кабинет и в продолжение часа, занимаясь с ним, все прислушивался: не долетит ли до меня звук ее голоса. Я знал ее походку, чувствовал шелест ее платья, и потом, когда мы, кончив занятия, входили в гостиную, – если не было ее там, мной овладевала невыносимая тоска: я садился, задумывался и ни слова не говорил; но она входила, и я оживал, делался вдруг весел, болтлив. Не знаю, замечал ли это кто-нибудь, но только Лида была ко мне очень ласкова: вообще молчаливая, со мной всегда заговаривала первая и всякий раз, когда я собирался уходить домой, говорила мне вполголоса: «Куда вы? Посидите, еще рано!»

Марья Виссарионовна добрая женщина, но решительно не умеет держать себя с детьми: Леонида она любит более всех, хотя и спорит с ним постоянно, и надобно сказать, что в этих спорах он всегда правее; с маленькими девочками она ни то ни се, или почти ими не занимается, но с Лидией Николаевной обращается в высшей степени дурно. Бедная девушка поставлена в такое положение, что скорее походит на приживалку, чем на дочь. Она занимается всем хозяйством, учит и нянчит маленьких сестер и, несмотря на все это, получает от матери непрерывные замечания за всевозможные пустяки. Ко мне Марья Виссарионовна привыкла. Иван Кузьмич отрекомендовался мне, сказав, что он калужский помещик Марасеев, и просил обязать его приятным моим знакомством. Он очень недалек и, кажется, к Лидии Николаевне неравнодушен, Марью Виссарионовну уважает, а Леонида боится. Что касается до сего последнего, то он по-прежнему ничего не делает, но, сблизившись с ним, я увидел в нем очень умного человека, в высшей степени честного по своим убеждениям и далеко не по летам развитого. Я день ото дня более к нему привязывался, и он, с своей стороны, высказал мне, что полюбил меня.

К Ваньковским ездила еще одна дама, некто Лизавета Николаевна Пионова, и ездила почти каждый день, рыжая, рябая, с огромным ртом, влажными серыми глазами и, по-видимому, очень хитрая: к Марье Виссарионовне она обнаруживала пламенную дружбу, а от Ивана Кузьмича приходила в восторг и всегда про него говорила: «Чудный человек! Превосходный человек!». За Леонидом она, кажется, приволакивалась, а он говорил ей на каждом шагу дерзости и показывал явное пренебрежение. Раз она, не зная, о чем бы с ним заговорить, попросила его дать ей какую-нибудь книгу читать. Сначала он ей отвечал: «У меня никаких нет книг». Она не отставала. «Да какую вам надобно книгу?» – наконец, спросил он. «Какую-нибудь поинтереснее». Он пошел и принес ей календарь. Она надулась. Когда она обращалась к нему с просьбою сыграть на фортепьяно, он садился и начинал казачка. Досаднее всего, что эта госпожа обходилась с Лидией Николаевной свысока и едва ее замечала.

Однажды я пришел на урок. Леонида дома не было: это с ним часто случалось. Я прошел в кабинет. Мимо растворенных дверей промелькнула горничная, потом другой раз, третий – и, наконец, вошла в кабинет.

– Что вы изволите сидеть одни-с, барышня дома, – сказала она.

– Где же Лидия Николаевна? – спросил я не совсем спокойным голосом.

– В гостиной, пожалуйста туда-с; я докладывала об вас.

Я прошел в гостиную. Лидия Николаевна сидела за пяльцами.

– Брат сейчас приедет, он поехал с маменькою, – сказала она.

Я сел. Говорить с Лидией Николаевной было для меня величайшим наслаждением, но мне это редко удавалось. Я решился воспользоваться настоящим случаем.

– Какую вы огромную картину вышиваете, – сказал я.

Приличнее этого мне ничего не пришло в голову.

– Эта еще не так велика... Посмотрите, какое славное лицо у старика, – отвечала Лидия Николаевна, показывая узор, на котором был изображен старик с седой бородою, с арфой в руках, возле его сидел курчавый мальчик и лежала собака; вдали был известный ландшафт с деревцами, горами и облаками.

– Надобно иметь истинно женское терпение, чтобы все это вышить, – продолжал я, рассматривая узор.

– Нет, это не терпение, а так... от нечего делать... – отвечала Лидия Николаевна. – Хорошо, если бы женщины должны были иметь терпение только вышивать подушки, которые потом запачкаются и бросятся, – прибавила она, вздохнув.

– А где же им оно еще нужно? – спросил я с ударением.

– В жизни.

– Это, я полагаю, нужно мужчинам и женщинам.

– Мужчинам? О, нет! Они гораздо свободнее; они могут быть тем, чем хотят, а мы бываем тем, чем нам велят.

«Милая девушка, как она умна», – подумал я.

– Мне кажется, – начал я вслух, – что женщины в наше время довольно свободны...

– Чем же свободны? Может ли, например, женщина выйти или не выйти замуж?

– Конечно, может.

– Нет, не может, потому что над ней сейчас станут смеяться, назовут старою девушкою, скажут, что она зла; родные будут сердиться, тяготиться: на это не достанет никакого терпения.

– Необходимость выйти замуж для каждой девушки делается приятною: стоит только выйти за того, кого полюбишь.

– А если никого не любишь?

– Надобно дожидаться: для всякой женщины придет пора, когда она полюбит.

– Не думаю, я первая никогда и никого не люблю.

– Это почему вы думаете?

– Так... Полюбить одного, а выдадут за другого: лучше уж никого не любить.

Интересный разговор наш был прерван на этом месте приездом Леонида с матерью.

Мы ушли с ним в кабинет.

В этот раз я не совсем добросовестно исполнял обязанность наставника. Теорию неопределенных уравнений растолковал так неопределенно, что это даже заметил мой воспитанник, хотя и слушал меня по обыкновению очень невнимательно.

– Вы что-то сегодня совсем непонятно рассказываете, – сказал он с обыкновенною своею откровенностию.

– Мне нездоровится, – отвечал я.

– Ну так оставьте, и мне надоело. – Пойдемте в гостиную.

Я только того и ждал и дал себе слово во что бы то ни стало возобновить с Лидией Николаевной прежний разговор, но на беду мою несносный Иван Кузьмич был уже тут и сидел рядом с нею. Марья Виссарионовна рассказывала какую-то длинную историю про одну свою родственницу, которой предстояла прекрасная партия и которую она сначала не хотела принять, но потом, желая исполнить волю родителей, вышла, и теперь счастлива так, как никто; что, наконец, дети, которые слушаются своих родителей, бывают всегда благополучнее тех, которые делают по-своему. Говоря это, она переглядывалась с Иваном Кузьмичом, который ей поддакивал, и взглядывала на дочь; та сидела, потупившись, и ни слова не говорила. Леонид слушал мать с насмешливою улыбкою. Мне бы, вероятно, целый вечер не удалось переговорить

с Лидией Николаевною, но приехала Пионова. С нежностью поздоровалась она с Марьей Виссарионовною, издала радостное восклицание при виде Ивана Кузьмича, который у ней поцеловал руку, и тотчас же начала болтать, а потом, прищурившись, взглянула в ту сторону, где сидел Леонид, и проговорила сладким голосом:

– Вы здесь, Леонид Николаич, я вас и не вижу... Здравствуйте!

Тот не пошевелился и ни слова не сказал; меня и Лидию Николаевну она по обыкновению не заметила. Лида вышла, наконец, в залу, я тоже последовал за нею, благословляя в душе приезд Пионовой. Когда я вошел, Лидия сидела на небольшом диване, задумавшись. Увидев меня, она улыбнулась и проговорила:

– Я ушла, там очень жарко, посидимте здесь.

Я стал около нее.

– Вы будете у нас завтра? – спросила она.

– Буду.

– А послезавтра?

– Послезавтра воскресенье, урока у меня нет.

– Ничего, приходите обедать и на целый день.

Я обмер от радости.

– Завтра я не буду целый день дома, – прибавила Лидия.

– Где ж вы будете? – спросил я.

– В пансионе у madame Жарве. Там завтра акт и вечером бал.

– Стало быть, вы завтра будете веселиться?

– Какое веселье!.. Я не люблю балов, но я там училась; начальница меня очень любила; сама приезжала и просила, чтоб мамаша меня отпустила; она очень добрая!

– Я знал одну из воспитанниц madame Жарве; та не похожа на вас и, кажется, очень любит балы.

– Кто такая?

– Вера Базаева, которая мне еще как-то кузиной приходится.

– Верочку Базаеву? Она вам кузина! Эта наша пансионская красавица. Скажите, где она и что делает?

– Я думаю, танцует и кокетничает.

– Право? Она, впрочем, всегда была немного кокетка, а какая хорошенькая! Сначала я была с ней дружна, а потом расстались холодно; она тогда зиму жила здесь, очень много выезжала, и мы почти не видались.

– У меня с нею почти были такие же отношения: на первых порах мы с ней очень скоро подружились, или по крайней мере она уверяла меня, что ей очень ловко танцевать со мною вальс, а я находил, что она очень хороша собою.

– Вы не были в нее влюблены?

– Нет.

– Не может быть.

– Отчего же не может быть?

– Оттого, что она так мила, что нравится всем.

– На первый взгляд, может быть, а потом, взглядевшись, увидишь, что красоте ее многого недостает.

– Чего ж недостает?

– Мысли, чувства, души.

Лида не возражала.

– Вы напрасно думаете, – продолжал я, – чтоб я мог быть влюблен в Базаеву; по моим понятиям, женщина должна иметь совершенно другого рода достоинства.

– А именно?

– Вы желаете знать?

– Очень.

– Женщина должна быть не суетна, а семьянинка, кротка, но не слабохарактерна, умна без педантизма, великодушна без рисовки, не сентиментальна, но способна к привязанности искренней и глубокой, – отвечал я.

В голове моей давно уже приготовлен был для Лидии Николаевны этот очерк идеала женщины.

– А наружность? – спросила она.

– Наружности я и определять не хочу. Эти нравственные качества, которые я перечислил, так одушевят даже неправильные черты лица, что она лучше покажется первой красавицы в мире.

– Таких женщин нет.

– Нет, есть.

– Вы, стало быть, встречали?

– Может быть.

– Желала бы я посмотреть на такую женщину.

Я ничего не отвечал. Дело в том, что под этим идеалом я разумел ее самое. Несколько времени мы молчали.

– Вы, Лидия Николаевна, говорили, что никогда и никого не полюбите? – начал я.

– Да.

– Стало быть, вы никогда и замуж не пойдете?

– Нет, пойду.

– По расчету?

– Да, по расчету, – отвечала она.

И мне показалось, что, говоря это, она горько улыбнулась.

– Я не ожидал от вас этого слышать.

– Отчего ж не ожидали; это очень покойно; по крайней мере, если муж разлюбит, то не так будет обидно.

– Перестаньте так говорить, я вам не верю.

– Нет, правда.

– Правда?.. – начал было я.

– Постойте, – вдруг перебила меня Лидия Николаевна, – там, кажется, говорят про меня.

– Что такое вас встревожило? – спросил я.

– Так, ничего, – отвечала Лидия Николаевна.

– Ах, какая эта Пионова несносная! – прибавила она как бы про себя.

– *Lydie, ou etes vous?*³ – раздался голос Марьи Виссарионовны из гостиной.

– *Ici, maman*⁴, – отвечала Лидия.

– *Venez chez nous.*⁵

– Посидите тут, я скоро возвращусь, – это ужасно! – проговорила она и ушла.

По крайней мере, с полчаса сидел я, напрягая слух, чтобы услышать, что говорится в гостиной; но тщетно; подойти к дверям и подслушивать мне было совестно. Наконец, послышались шаги, я думал, что это Лидия Николаевна, но вошел Леонид, нахмуренный и чем-то сильно рассерженный.

– Что вы тут сидите; пойдете в кабинет, – сказал он.

Я пошел за ним в надежде, не узнаю ли чего-нибудь.

³ Лидия, где вы? (франц.).

⁴ Здесь, мама (франц.).

⁵ Идите к нам (франц.).

- Пионова сегодня что-то много говорит, – начал я.
- Мерзавка!.. Черт знает, как все эти женщины нелепы.
- А что же?

Леонид ничего не отвечал; расспрашивать его, я знал, было бесполезно.

- А математика идет плохо, – начал я с другого.

– Скверно. Как мне хочется на воздух! Поедемте прокатиться; я вас довезу до дому; у меня лошадь давно заложена.

- Хорошо. Можно проститься с вашими?
- Ступайте; а я покуда оденусь.

В гостиной я застал странную сцену: у Марьи Виссарионовны были на глазах слезы; Пионова, только что переставшая говорить, обмахивала себя платком; Иван Кузьмич был краснее, чем всегда; Лидия Николаевна сидела вдали и как будто похудела в несколько минут. Я раскланялся. Леонид подвез меня к моей квартире. Во всю дорогу он ни слова не проговорил и только, когда я вышел из саней, спросил меня:

- Вы будете завтра дома?
- Буду.
- Я завтра приду к вам.
- Приходите.

III

На другой день, только что я встал, Леонид пришел ко мне и по обыкновению закурил трубку, разлегся на диване и молчал; он не любил скоро начинать говорить.

– Ваши здоровы? – спросил я.

Меня заботило, что такое у них вчера было.

– Не знаю хорошенько; матери не видал, а сестра больна.

– Чем?

– Голова болит.

– Вы вчера поздно воротились?

– Нет, прокатился только.

– А гости еще у вас долго сидели?

– Не знаю; я не входил туда. Кажется, что долго, – отвечал нехотя Леонид.

Он был очень не в духе.

– Скажите, пожалуйста, Леонид Николаич, – начал я после нескольких минут молчания, – что это за человек Иван Кузьмич?

– Что за человек он, я не знаю, и даже сомневаюсь, человек ли он? А что глуп, как бревно, так это верно.

– Однако он принят у вас, как свой?

– Не отвяжешься от него, хотя я и давно об этом стараюсь.

– Почему ж?

– Он главный кредитор наш.

– А разве у вас долги есть?

Леонид усмехнулся.

– Есть немного.

– Сколько же?

– Тысяч триста серебром.

– Триста тысяч!.. А состояние велико ли?

– Около тысячи душ.

– Состояние прекрасное.

– Хорошо, только в итоге ставь нуль.

– Отчего же это?

– Дела расстроены. Отец у меня был очень умный человек, и, когда женился на матери, у него ничего не было, а у нее промотанных двести душ, но в пять лет он составил тысячу, а умер – и пошло все кривым колесом: сначала фабрика сгорела, потом взяты были подряды, не выполнили, залоги лопнули! А потом стряпчие появились и остальное доконали.

– Каким же образом Иван Кузьмич попал в число кредиторов?

– Получил от родного брата по наследству, с которым отец имел дела.

– А велик его вексель?

– Тысяч в тридцать серебром.

– Кто ж теперь управляет всем этим: и делами и имением вашим?

– Судьба.

– А матушка ваша предпринимает же что-нибудь?

– Едва ли. Она то плачет и говорит, что несчастнейшая в мире женщина, а потом, побеседовавши с Пионовою, уверяет всех, что ничего, что все прекрасно устроилось. Я ничего не понимаю.

– Во всяком случае она, мне кажется, женщина умная.

– Умна, только прежде была очень избалована жизнью. При бабушке жила в богатом доме и знала только на балы выезжать, при отце тоже: он ей в глаза глядел и окружал ее всевозможной роскошью. Вы бывали у нас в бельэтаже?

– Нет.

– Жаль. Я вам покажу когда-нибудь. Там есть кабинет, нарочно для нее отделанный; он один стоит десять тысяч серебром, а теперь и нет ничего, да еще хлопоты по делам, и растерялась.

– Поэтому теперь лежит обязанность на вас устроить как-нибудь дела.

– А что я такое? Мальчишка, да и по характеру один из тех пустейших людей, которые ни на что не годны. Я от лени по целым дням хожу, не умывшись и не пообедав; у меня всю мою жизнь недоставало еще терпения дочитать ни одной книги.

– Однако вы музыкант, и музыкант замечательный.

– Музыка и дела – две вещи разные; музыку я люблю, – отвечал Леонид.

Несмотря на то, что он все это говорил, по-видимому, равнодушно, но видно было, что семейное расстройство его сильно беспокоило. Мне было более всего досадно, что Марасеев был в числе кредиторов.

– Вероятно, Иван Кузьмич по хорошему знакомству не беспокоит вас своим векселем? – сказал я.

– Напротив, несноснее всех, – отвечал Леонид.

– Неужели же он так неделикатен?

– Не очень. Все сватается к сестре и говорит, что если она выйдет за него, так он сейчас же изорвет вексель.

Сердце у меня замерло.

– А Лидии Николаевне он нравится? – спросил я.

– Еще бы ей нравился! Она не совсем еще с ума сошла.

– А Марья Виссарионовна желает этого брака?

– Очень.

– Неужели же Марья Виссарионовна не видит в нем ни разницы лет, ни разницы воспитания с Лидией Николаевной, неужели, наконец, не понимает личных его недостатков? Я уверен, что ей самой будет неловко иметь такого зятя: у него ничего нет общего с вашим семейством.

Леонид молчал.

– И как вы думаете, брак этот состоится? – прибавил я, желая вызвать его на разговор.

– Я думаю. Матушка желает и говорит, что от этого зависит участь всей семьи.

– Какая же участь? Тридцать тысяч не все ваше состояние.

– Кажется, а Лида верит.

– Но как же это?

– А так же – верит. Вы не знаете этой девушки: она олицетворенная доброта. Матушке стоит только выразить малейшую ласку, и она не знает на что не решится. Досаднее всего, что я ее ужасно люблю, не оттого, что она мне сестра; это бог бы с ней, а именно потому, что она чудная девушка.

– Мне самому Лидия Николаевна чрезвычайно нравятся, даже в наружности их есть что-то особенно привлекательное.

– Нет, наружность что? Она собою не хороша, но у ней чудный характер, кроткий, ровный.

Эти слова Леонид говорил с большим против обыкновенного своего тона одушевлением.

– Я без ужаса вообразить не могу, – продолжал он, вставая и ходя взад и вперед по комнате, – что такая славная женщина достанется в жены какому-нибудь Марасееву.

– Тем более, Леонид Николаич, вы должны этому противодействовать всеми средствами.

– Ничего не сделаешь. Неужели вы думаете, что я не действовал? Я несколько раз зате-вал с ним историю и почти в глаза называл дураком, чтобы только рассердить его и заставить перестать к нам ездить; говорил, наконец, матери и самой Лиде – и все ничего.

– Но они возражали же что-нибудь вам?

– Ничего не возражали; мать сердится и говорит, что я еще мальчишка и ничего не пони-маю, а Лида плачет.

– Во всяком случае, это слабость характера со стороны Лидии Николаевны.

– Вовсе не слабость, когда она два года борется и в продолжение этих двух лет ей говорят беспрестанно одно и то же, беспрестанно толкуют, что этот человек влюблен в нее, что лучшего жениха ей ожидать нельзя, потому что не хороша собою, что она неблагодарная, капризная и что хочет собою только отягощать мать. Я бы на ее месте давно убежал из дома и нанялся бы где-нибудь в ключницы, чем стал бы жить в таком положении.

– А Иван Кузьмич богат?

– В том все и дело, что хочет уничтожить наш вексель, а кроме того, Пионова уверяет, что у него триста душ и что за невестою он ничего не просит и даже приданое хочет сделать на свой счет и, наконец, по всем делам матери берется хлопотать. Я вам говорю, что тут такие подлые основания, по которым выдают эту несчастную девушку, что вообразить трудно.

– Я, право, все еще не верю, чтобы Марья Виссарионовна могла иметь такие побуждения в таком важном деле, как брак дочери.

– У ней никаких нет побуждений, потому что нет никаких убеждений. В этом случае ее решительно поддувает Пионова; не будь этой советчицы, мать бы задумала... опять пере-думала... потом, может быть, опять бы задумала, и так бы время шло, покуда не нашелся бы другой жених, за которого Лида сама бы пожелала выйти.

– Неужели же влияние этой пустой женщины так сильно, что вы не можете ее отстранить, и, наконец, на чем основано это влияние?

– На том, что она унижается пред матерью, восхищается ее умом, уверяет ее, что она до сих пор еще красавица; клянется ей в беспредельной дружбе, вот и основания все, а та очень самолюбива. Прежде, когда она была богата и молода, ей льстили многие, а теперь все оставили; Пионова же держит себя по-прежнему и, значит, неизменный друг.

– Но та какую цель имеет?

– Может быть, деньги взяла за сватанье, и вероятно, да и Лиду ей уничтожить хочется: она ее ненавидит.

– За что же?

– За то, за что мерзавцы вообще ненавидят хороших людей, которые для них живое обли-чение.

– Мне кажется, что Пионова равнодушна к вам.

– Как же! Влюблена в меня; сама признавалась мне, что она дорожит нашим семейством только для меня.

– Вот бы вы это и сказали матушке.

– Говорил.

– Что ж она?

– Смеется.

Таким образом, Леонид раскрыл предо мною всю семейную драму. Мы долго еще с ним толковали, придумывали различные способы, как бы поправить дело, и ничего не придумали. Он ушел. Я остался в грустном раздумье. Начинаясь в сердце моем любовь к Лидии Нико-лаевне была сильно поражена мыслию, что она должна выйти замуж, и выйти скоро. Мне сде-лалось грустно и досадно на Лиду.

В первые минуты я написал к ней письмо, которое вышло у меня такого содержания:

«Я, может быть, слишком много беру себе права, что осмеливаюсь писать к вам, но разубеждение, которое мне суждено в вас испытать, так болезненно отозвалось в моем сердце, что я не в состоянии совладеть с собою. Я некогда, если вы только это помните, говорил вам об идеале женщины, и нужно ли говорить, что все его прекрасные качества я видел в вас, но – боже мой! – как много вы спустились с высоты того пьедестала, на котором я, ослепленный безумец, до сих пор держал вас в своем воображении. Вы выходите замуж, я это знаю, и знаю также, что ваш ум и ваше сердце и свободу вы приносите двум-тремстам душам мужнина состояния. Не говорите тут о необходимости, о самоотвержении. Подобное пренебрежение, чтоб не сказать неряшество, в собственном счастье, я убежден, выше сил женщины и служит признаком, знаете ли чего? Страшно сказать – бездушия, бесстрастности, что признать в вас мне все-таки не хочется, и я все-таки еще желаю оставить вам настолько нравственных качеств, что наперед вам предсказываю много горя и страданий, если вы только сделаете этот неосторожный шаг».

Написав все это, я предполагал в тот же день снести Лиде сам мое письмо, но, вспомнив, что говорил Леонид, мне стало жаль ее.

«Нет, она не так виновна, – подумал я, – бог с ней: пускай она выходит замуж, я останусь ей предан и по возможности дружен и близок с нею».

Решившись таким образом из пламенного обожателя преобразовать себя в смиренного и нетребовательного друга, я задал себе вопрос: что за человек Марасеев? Может быть, Леонид сильно против него предубежден; может быть, он только не очень умен, но добрый в душе человек; может быть, он точно любит Лидию Николаевну, доказательство этому отчасти есть: он жертвует для нее тысячами. Из него, может быть, выйдет хороший семьянин, и он в состоянии будет если не сделать Лидию Николаевну вполне счастливою, то по крайней мере станет покоить ее.

Мое намерение было: на другой же день съездить к Марасееву и посмотреть на него в домашней жизни; это было мне и кстати сделать, потому что он был у меня недели две тому назад, а я ему еще не заплатил визита.

IV

Иван Кузьмич жил в Грузинах. Я ехал к нему часа два с половиною, потому что должен был проехать около пяти верст большими улицами и изъездить по крайней мере десяток маленьких переулков, прежде чем нашел его квартиру: это был полуразвалившийся дом, ход со двора; я завяз почти в грязи, покуда шел по этому двору, на котором, впрочем, стояли новые конюшни и сарай. Я сейчас догадался, что Иван Кузьмич выбирал квартиру с большими удобствами для лошадей, чем для себя. В маленькой темной передней встретил меня лакей и, проворно захлопнув дверь в залу, стал передо мною, как бы желая загородить мне дорогу.

– Дома Иван Кузьмич? – спросил я.

Лакей замялся.

– Я не знаю-с: они дома, да не почивают ли? Позвольте я доложу-с, – отвечал он и ушел в залу, опять притворив дверь. Через несколько минут он возвратился, неся в руках поднос с пустым графином и обедками пирога. Поставив все это, бегом побежал в сени и возвратился оттуда с умывальником и полотенцем и прошел в залу. Положение мое становилось несносно; я стоял, не снимая ни шинели, ни калош, в полутемноте и посреди удушливого запаха, который происходил от висевших тут хомутов, смазанных недавно ворванью. Лакей еще несколько раз прибежал за сапогами, сюртуком, головною щеткою, которые хранились тут же в передней, и, наконец, разрешил мне вход. Иван Кузьмич встретил меня с распростертыми объятиями, обнял и крепко поцеловал. Не ожидая такой нежности, я попятился и с удивлением взглянул ему в лицо: оно не только было красно, но пылало, и глаза были уже совсем бессмысленные. Вместе с ним вышел толстейший и высочайший мужчина, каких когда-либо я видал, с усищами до ушей, с хохлом, с огромным животом, так что довольно толстый Иван Кузьмич и я, не совсем маленький, казались против него ребятами, одним словом, на первый взгляд страшно было смотреть. Он мне расшаркался, и при этом закачался весь пол. Иван Кузьмич поздоровался со мною и облокотился на печку.

– Очень рад, – начал он, едва переминая язык, – прошу познакомиться, – прибавил он, указывая на огромного господина: – мой приятель, Сергей Николаич, а они учитель Марьи Виссарионовны, очень рад... извините, пожалуйста, я не ожидал вас: недавно проснулся, будьте великодушны, извините... Сделайте милость, господа, пожалуйста в гостиную. Сергей Николаич! Что ж ты церемонишься? Мы с тобою не сегодня знакомы; ты свинтус после этого... Сделайте милость, простите великодушно; мы с ним по-приятельски, – болтал хозяин и, наконец, пошел в гостиную, шатаясь из стороны в сторону. Не оставалось никакого сомнения, что он был мертвецки пьян. Мы пошли за ним, громадный господин был тоже сильно выпивши, только ему было это ничего: у него все выходило испариною, которая крупными каплями выступила на лбу и которую он беспрестанно обтирал, но она снова появлялась.

В так названной гостиной, в которой был какой-то деревянный диван и несколько стульев, сидел молодой офицер и курил трубку. Он мне особенно бросился в глаза тем, что имел чрезвычайно худощавое лицо, покрытое всплошь желчными пятнами.

Иван Кузьмич опять принялся за рекомендацию.

– Позвольте вас познакомить: поручик Данович – учитель Марьи Виссарионовны; прошу полюбить друг друга.

Зачем он нас просил, чтобы мы полюбили друг друга, неизвестно.

Я потупился, поручик усмехнулся, однако мы раскланялись.

– Очень, право, рад, ко мне вот сегодня приехал Сергей Николаич, потом господин Данович пришел... потом вы пожаловали: благодарю... только извините, пожалуйста; я такой человек, что всем рад, извините... – проговорил Иван Кузьмич и потупил голову. Поручик качал головою; толстый господин не спускал с меня глаз. Мне сделалось неприятно и неловко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.